ИЗ ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРНОГО ИНСТИТУТА

С. Ф. ДМИТРЕНКО[1]

ВАСИЛИЙ ЕФИМОВИЧ И ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ

В очерке на основании личных воспоминаний рассказывается об особенностях преподавания в Литературном институте (1978–1981) руководителя семинара прозы, кандидата филологических наук, писателя-фронтовика Василия Петровича Рослякова (1921–1991), а также поэта и прозаика Василия Ефимовича Субботина (1921–2015).

Ключевые слова: В. П. Росляков, В. Е. Субботин, Великая Отечественная война, фронтовик, проза, Елизар Мальцев, Василий Аксёнов, Дмитрий Верещагин, Валерий Никулёнок, журнал «Юность».

Сограждане, кому за полвека и более, должны хорошо помнить особое значение слова *фронтовик*. Так после войны и вплоть до 1970-х годов называли тех, кто участвовал в боях, был в действующей армии, *на войне* (да, в советские времена, когда говорили вроде бы просто: *война*, всем было понятно: речь — о Войне, о Великой Отечественной войне, уже пережитой, но по-прежнему в народе переживаемой). Слово «ветеран» появилось и стало укореняться только в годы брежневского правления, когда 9 мая стало Днём Победы и днём нерабочим, когда понятие «участник Великой Отечественной войны» всё расширяли и расширяли... Но во времена моего детства были **фронтовики** — и все остальные.

Сегодня, на вершинах прожитых лет (которые всё острее ощущаются окопами), можно предаться метафизическим прениям и рассуждать о том, что есть справедливость и в слове «ветеран», и в том, что к ним причислили многих, достойно прошедших эпоху 1941–1945, и вроде бы даже обратили наконец внимание на то, что тяготы горячего тыла, обеспечивающего фронт, вытянули на себе девушки, женщины-матери, их несовершеннолетние дети... Но всё же я нацелился рассказать свою историю, а история — в непреложности её фактов с их временны́ми переживаниями — сослагательного наклонения не имеет.

Я вырос в семье фронтовика. Мой отец, Фёдор Никитич Дмитренко, 1922 года рождения, был призван в армию осенью 1941 года и для начала оказался в гибельном Крымском десанте… О войне он вспоминать не любил, сказав

[1] Сергей Фёдорович Дмитренко — кандидат филологических наук, доцент кафедры новейшей русской литературы, ФБГОУ ВО «Литературный институт имени А. М. Горького» (Москва, Российская Федерация); dmitrenko@litinstitut.ru

мне однажды: «Понимаешь, всё чаще думаю: все мы, те, кто был на фронте, абсолютно все были низвергнуты в ад… Но вдруг кого-то из нас, — и меня тоже, — вернули из ада обратно, на землю. И вот я — живу».

Подобное я услышал много лет спустя от другого фронтовика, поэта, напомню, выпускника Литературного института, Константина Яковлевича Ваншенкина. Он сказал, пожалуй, ещё жёстче: «...все, кто был на войне, погибли, все без исключения. И после войны некоторые, те, которым повезло, воскресли. А некоторые после войны, успешно её пройдя и благополучно закончив, умерли не от ран, умерли через год, через два просто потому, что не смогли войти в эту новую жизнь, не нашли себя и даже не могли объяснить причины, почему не нашли. Война всегда уничтожает человека...»[1]

Всё это вступление мне необходимо затем, чтобы объяснить то обстоятельство, при котором росли я, мои сверстники, все, кто родился в тридцатых–шестидесятых.

Мы росли при фронтовиках.

Именно фронтовики, настаиваю, определили очень многое — и очень важное — в нашей жизни, нашем развитии.

Я взялся за эти заметки, ещё не опомнившись от ухода отца. Он умер тихо, во сне, на позднем рассвете 8 декабря 2015 года, получив от Господа и Судьбы (на особом её значении в своей жизни он всегда настаивал) долгий век и связанные с этим радости и тягости. И в своих размышлениях о его жизни я вдруг понял, что отцовская школа как школа фронтовика продлилась в моей жизни и после того, как я отчий дом покинул, причём продлилась именно в Литературном институте (ибо в родных навсегда Военно-воздушных силах, которым я с радостью отдал часть жизни и т. с. *пламенный задор сердца*, в мои времена фронтовики уже были наперечёт, и на командных, а не на лётных должностях).

В Литературном институте меня по-своему чему-то научили, пожалуй, все преподаватели. Но с особым, *неизъяснимым* (возьму это прекрасное слово из пушкинского лексикона) чувством вспоминаю моих преподавателей из фронтовиков, а именно — Виктора Антоновича Богданова, Михаила Павловича Ерёмина и Василия Петровича Рослякова.

Впрочем, как это всегда происходит при построениях, тут же возникают некоторые уточнения. Всё-таки в этом ряду Василия Петровича надо поставить первым. Ведь именно он с третьего курса был руководителем нашего творческого семинара прозы, именно с ним я сидел над своими сочинениями, над своей дипломной работой…

Но тут же возникает закономерный вопрос: а Василий Ефимович?! Ведь тебя взял в свой семинар Василий Ефимович Субботин, тоже фронтовик, участник штурма Берлина, именно под его руководством ты прошёл первые два курса в Литинституте[2].

И это правда.

---

[1] *Дмитренко Сергей*. Я историю излагаю... // Литература: Газета Издательского дома «Первое сентября». 2009. № 8. С. 8.

[2] Вторым рецензентом моей вступительной подборки рассказов, как я узнал много лет спустя после окончания института, был Виктор Антонович Богданов, что, понятно, для меня тоже очень лестно.

Поэтому, завершая кое-что, но не всё объясняющее вступление, скажу следующее: надеюсь ещё написать достойное о других своих учителях-фронтовиках (и об отце, разумеется), но сейчас всё же речь о тех фронтовиках, которые по воле судьбы оказались моими наставниками на заплетающихся тропах литературных исканий.

Они были почти ровесниками, и начало 2016 года отмечено их 95-летиями. Причём Василий Ефимович Субботин не дожил до своего совсем немного: он скончался 24 мая 2015 года (родился 7 февраля 1921 года).

К сожалению, Василий Петрович Росляков (родился 17 марта 1921 года) прожил намного меньше: он скончался в дни распада СССР, 6 декабря 1991 года. Тогда оказались роковыми серьёзные неполадки с сердцем, известные задолго до этого.

На его похоронах я не был, волею судьбы как раз в те дни впервые в жизни оказался в Европе, причём в ФРГ. И теперь по праву ученика и, готов сказать, литературного сына Василия Петровича пишу эти вообще-то неюбилейные заметки, говорю своё запоздалое благодарное «прости».

Вначале о Василии Ефимовиче Субботине.

На первом занятии (они проходили в памятной 24-й аудитории нашего главного корпуса за невероятных размеров овальным столом, литинститутской реликвией), приветствуя нас, первокурсников, Василий Ефимович подчеркнул, что набрал семинар сугубо мужской. Шёл сентябрь 1976 года, и вопросов о харразменте и сексизме в повестке дня не существовало.

«Будем говорить за жизнь», — сурово подытожил мастер своё краткое вступительное слово.

Его речи согласно — и весомо — кивали заочники-москвичи выпускного курса, среди них две барышни — очевидно, в своё время Василий Ефимович оказал им особое — исключительное — доверие.

Мы тоже радостно смотрели ему в глаза: говорить *за жизнь* на фоне невнятных решений и унылых обстоятельств недавно завершившегося XXV съезда КПСС хотелось всем. Ведь в семинаре сидели далеко не мальчики: например, я с моим почти пятилетним послешкольным стажем: армейским и трудовым — был одним из самых молодых по возрасту; первокурсникам москвичам-заочникам Дмитрию Верещагину и Валерию Никулёнку и вовсе было хорошо за тридцать.

Все предвкушали, как схлестнутся в творческих спорах наши взгляды, наши правды, наши представления о жизни и о слове… Каждый из нас успел кое-что узнать о своём творческом руководителе, и знания эти воодушевляли: фронтовик, штурмовавший Берлин, поэт и прозаик, автор замечательной документальной книги «Как кончаются войны», которой именно *за правду* не дали то ли Государственную, то ли Ленинскую премию (отличие, которое тогда числилось выше любого официального признания).

Однако вскоре мы загрустили. Как видно, Василий Ефимович погорячился. Семинары наши крутились вокруг разбора стилистических погрешностей обсуждаемых рассказов, проблематику их (совсем не ласковую) руководитель старательно обходил, а его помощники, заочники-старшекурсники, всячески мэтра в его буквоедстве поддерживали. Не удивительно, что вскоре начался исход: пользуясь вольностями Литературного института, ушёл к другому

мастеру один, перевелись на заочное отделение ещё двое, шастали, в поисках хлеба насущного, по другим семинарам многие… На втором курсе, когда выпустились заочники, обстановка и вовсе стала тоскливой.

Хочу быть понятым правильно. У меня как такового к Василию Ефимовичу никаких претензий быть не может. Поступил я в Литературный институт с первого захода, он меня взял, даже поручил вести дневник наших семинаров (хотя можно сказать и так: поручил, потому что на нечто большее я, по его мнению, был не способен). Но теперь, сам обладая значительным педагогическим опытом и будучи даже годами старше, чем Василий Ефимович в середине 1970-х годов, должен заметить: как литературный наставник, он был довольно слаб. Это совсем не порок: в истории нашего Литературного института можно найти не единичные примеры, когда блистательные мастера оказывались средненькими педагогами, а, напротив, скромные литераторы воспитывали настоящих художников слова. Всё бывает. Тем более что Василий Ефимович, как видно, и сам чувствовал, что с нашим мужским семинаром у него не складывается. На последнем семестровом занятии в мае 1978 года, выставив нам всем зачёты, он вдруг объявил:

— Дорогие друзья! Я ухожу преподавать на Высшие литературные курсы. Но вам опять повезло: вашим руководителем будет Василий Петрович Росляков.

Попрощался и стремительно исчез из аудитории 24.

Мы ошалело молчали, переваривая сказанное. И вдруг Валерий Кулешов, звезда нашего семинара, его негласный лидер, крикнул из своего угла мне, протоколисту при журнале, всегда по сложившемуся обиходу восседавшему по правую руку от мастера:

— Серёжа! Слышал?! Нам *опять* повезло.

Я только развёл руками и, как и все, понурившись, пошёл восвояси.

Однако Василий Ефимович не соврал. Если считать, что нам повезло, когда он принял решение взять всех нас в свой семинар и тем через ворота усадьбы на Тверском бульваре, 25 открыл дорогу жизни, то приход Василия Петровича превратил это начальное везение в радость учения последующих трёх лет.

Конечно, и о Рослякове мы кое-что знали. Он тоже относился к поколению писателей-фронтовиков, его повести, пусть не такие заметные, как произведения Григория Бакланова и Юрия Бондарева, Виктора Курочкина и Константина Воробьёва, тоже считались настоящими книгами о войне. Но то книги…

Хотя в нашем семинаре не было девушек, мы знали: и у Субботина, и у Рослякова в институте была репутация седовласых *красавцев мужчин*. Причём Василий Петрович здесь, уступая в росте и в стати Василию Ефимовичу, явно выигрывал схожестью с Гёте времён работы над «Вальпургиевой ночью».

Должен признаться, тогда у меня были и кое-какие собственные впечатления о творчестве Василия Петровича. Я таскал с квартиры на квартиру в тогдашнем своём житейском багаже номер журнала «Юность» (1968. № 3), где была напечатана повесть Василия Аксёнова «Затоваренная бочкотара» — можно сказать, культовое для меня сочинение. Но, надо отметить, и весь

номер был удивительный! (К счастью, сейчас его можно посмотреть на сайте журнала). Кроме аксёновского шедевра с конгениальным послесловием Евгения Сидорова, здесь были опубликованы стихотворения Анны Ахматовой, Ярослава Смелякова, Николая Рубцова, Инны Кашежевой, Василия Казанцева, особой тональности письма М. Горького к сыну (к столетию со дня рождения писателя), очерк молодого Аркадия Арканова о воюющем Вьетнаме (!), дебютное сочинение талантливого Николая Булгакова, интервью с недавно ещё опальным Эдуардом Стрельцовым, боевой фельетон Наталии Ильиной, где она побивала эротическое ханжество цитатой из Карла Маркса... Василий Петрович выступил в этом без преувеличений звёздном номере с двумя рассказами. Запоминался второй (хотя и первый, с сатирическими нотами был неплох) — «Двое в августе», с посвящением Юрию Казакову и сам по тональности, казаковско-бунинский, о любви, с лирической иллюстрацией знаменитого крокодильского художника Евгения Шукаева, с особой страстью рисовавшего юных прожигательниц коммунистических идеалов — они получались у него неизменно соблазнительными. Росляковская героиня носила вполне подходящее для крокодильской героини инозвучное имя Инга, но при том была изображена вполне советской девушкой, путешествующей со своим то ли законным, то ли гражданским мужем (тогда, правда, этого норкового определения не было в обиходе) на теплоходе с зубодробительным именем «Память тов. Маркина». Перечитав этот рассказ сейчас, должен подтвердить, что он построен достаточно хитроумно и вполне вписывается в общую, живую, свежую тональность всего номера. Но тогда на фоне «Бочкотары» рассказ выглядел всё же скромно. Хотя так или иначе к новому мастеру, напомню, фронтовику, интерес поддерживал.

Произошло ещё одно, формальное изменение. По каким-то причинам вместо элитной 24-й для занятий нам отвели 13-ю аудиторию. Она была менее уютной (хотя на академических лекциях мы её вполне освоили), но все об этом скоро позабыли: изменилось не только место, но и сам характер наших семинаров.

Если при Василии Ефимовиче они имели однообразие лабораторной работы: чтение и обсуждение очередного рассказа, то при Василии Петровиче ход их трудно было предугадать.

Разумеется, рассказы и другие сочинения семинаристов мы продолжали обсуждать, и со страстью обсуждать, до криков доходило, чего никогда не было прежде. Но совершенно изменилась и общая атмосфера семинара. Кратко я бы её описал словами Василия Петровича же: «В литературе всё можно. Но — нельзя».

В отличие от Василия Ефимовича, который умело (но всегда в своих интересах умело) управлял ходом обсуждения, особенно в тех случаях, когда представленное сочинение ему не ложилось на душу и сердце (а из написанного нами ему не ложилось ни туда и ни туда очень многое), Василий Петрович с радостью бросал на растерзание семинара любую представленную студентом ахинею, никак не мешая выплеснуться любым эмоциям и скромно помалкивая. Ему, как видно, хотелось, чтобы мы в литературе хулиганили, ломали не только стереотипы, но каноны и традиции, сдвигали жанры, пародировали классику, искали в жизни экстравагантные характеры — но затем пытались проверить их на прочность жизнью обыденной…

Наш семинар стал меняться. Те люди, которые прежде молчали, — заговорили, и заговорили очень интересно. Прежде угадливо говорливые, напротив, примолкли (что говорить, когда реакция мастера непредсказуема, когда он как раз ждёт непредсказуемости от нас?!). Затем обнаружилось, что писавшие на младших курсах какую-то соцреалистическую хрень способны поистине на внутреннюю революцию.

Например, заочник Валерий Никулёнок, занимавший в гражданской своей жизни умопомрачительную должность «инженер по социалистическому соревнованию», а вообще-то человек бывалый, вдруг принёс повесть «Фундаменты», потрясшую всех нас сатиру о так называемых стройках пятилетки, об ударных стройках. Нам показалось, что он использовал тот же материал и те же описания, что и в своих беспомощных рассказах, представлявшихся им на младших курсах. Но как всё заиграло и обернулось кинжально беспощадной правдой, когда Валерий нашёл своего главного героя для этой повести, некоего Петровича (это всё было до Бильжо), пятидесяти лет с хвостиком, решившего отправиться на ударную стройку с целью заработать пенсию побольше (тогда, в советское время такой вариант обеспечения *возраста дожития* существовал).

И вот никулёнковский Петрович, характером и манерами поведения порой напоминавший тогда запретного, но всем нам известного Ивана Денисовича, становится эдаким странным *кенарем в шахте*, лакмусовой бумажкой, неведомой силой, пробующей на удар, разрыв и прочие параметры эти самые фундаменты, основы наших тогдашних — идеологии, морали, быта, человеческих взаимоотношений… (Не хочу пересказывать — написано было легко, лихо и при том совсем не душно — но и не могу пересказывать, с тех пор повесть не читал, кое-что в памяти стёрлось: в советское время напечатать «Фундаменты» в СССР было немыслимо, но потом Валерий Никулёнок на литературных горизонтах почему-то не появился, и следов этих «Фундаментов» найти мне пока не удаётся).

Уже упоминавшийся другой москвич-заочник, феноменально одарённый даром рассказчика Дмитрий Верещагин на младших курсах чах над переписыванием потрясающего по силе рассказа «Малокровие» — о послевоенном голоде в деревне. Рассказ было взяли в журнал «Наш современник», но выправили, начиная от заглавия (стало: «Малокровное утро») до такой неузнаваемости, что даже Василий Ефимович посоветовал Дмитрию отказаться от публикации: «Потом Вам стыдно станет». Теперь Дмитрий Иванович вдруг стал писать казалось бы бесконфликтную на этот раз повесть для детей «Большая улица», мы её читали на семинаре по главам. Но вот невероятие искусства! Писал Верещагин жёстко, страшно о своём ровеснике, голодающем в деревне мальчишке — и нас до глубин души пронимало. А взялся рассказать о том, что в те же голодные годы чудо детства деревенские ребята и ощущали и переживали, — и мы вновь ему верили, и вновь душа сжималась и взлетала, окрылённая верещагинским словом...

Но, пожалуй, о Верещагине мне надо особо писать. К счастью, его «Большая улица» не затерялась, вышла ещё до перестройки в «Детской литературе», а к нынешнему времени уже не раз переиздавалась. Не знаю, как сам Дмитрий Иванович относится к урокам Рослякова, но буду настаивать: состояние творческой свободы к нему пришло именно в те, росляковские годы.

Василий Петрович, как мы поняли, был дружен со многими прекрасными писателями. Что таить, есть мэтры, которые не переносят рядом с собой другие таланты. У Василия Петровича такой ревности не было совсем. Он постоянно говорил с нами о выдающихся книжных новинках, приводил к нам звёздных людей тогдашней литературы: Бориса Можаева, Юрия Казакова (дважды), много рассказывал о Павле Нилине (и побудил вчитаться в его удивительную прозу), о Василии Аксёнове (увы, история с «Метрополем» сделала приход Василия Павловича к нам невозможным)... Помню, как сокрушался Василий Петрович, что Василия Павловича, поехавшего за рубеж читать лекции, лишили советского гражданства. «Как же он теперь там будет?! — рассуждал Росляков, сидя перед нами на семинаре. — Ведь он всегда вырастает из жаргона, из меняющегося постоянно разговорного нашего языка, у него к устному слову особо чуткий слух!»

Однажды Росляков появился в аудитории с невысокого роста очкариком. Оказалось: это Елизар Мальцев, которого мы знали как правоверного соцреалиста. Но когда этот соцреалист заговорил, мы заслушались. Мальцев оказался по происхождению из старообрядцев (опубликовать свои заветные произведения смог только в перестройку). Он рассказал нам, как, начитавшись прозы Марио Варгаса Льосы, переписал свой роман «От всего сердца», удостоенный Сталинской премии. Меня эта фантасмагория увлекла: я разыскал в библиотеках обе редакции сочинения и убедился: действительно, Мальцеву удалось превратить свой послевоенный колхозный лубок в феерию, показывающую, что даже коллективизация не смогла погасить кипевшие среди колхозных крестьянок и крестьян страсти...

Весной 1979 года умер прозаик Виль Липатов, и его семинар перешёл к Василию Петровичу. Что и говорить, невольная смена мастера — малоприятна, не всем пришедшим, как видно, она была по душе, но Василий Петрович сумел найти с недовольными если не общий язык, то творческое согласие: да и не могло быть иначе в свободной атмосфере его семинара, где всё зиждилось не на устном доказывании своих прав, а на реально написанном. Василий Петрович никогда не заставлял что-то переделывать, но всегда высказывался о слабых сторонах сочинения так, что самому автору его творческие достижения уже не казались такими уж безусловными. Его реплики были очень точными, обоснованными — но не занудливо пространными.

Воодушевило появление Василия Петровича и меня. Мои доинститутские литературные опыты вывели к сюжетной прозе; характер в событии — вот что меня интересовало, а жизнь, несмотря на благополучное детство, представлялась сложным сплетением комизма и абсурда, сквозь которое пытается прорваться лирика и хоть как-то воодушевить человека. Отсюда и любимые писатели: Рабле, Гофман, Гоголь, Салтыков-Щедрин, Лесков, Чехов, Василий Аксёнов, Василий Шукшин... Василий Петрович меня понял. Я это говорю с лёгким сердцем, никак свои творческие притязания не возвышая, а лишь радостно отмечая, что мой, наш литературный учитель особым, богоданным образом умел прочитать и наставить каждого из своих учеников. Естественно, я вправе говорить лишь о себе, но по моим наблюдениям (теперь подтверждаемым многими прожитыми десятилетиями, когда литературные судьбы большинства из нас уже свершились) его тогдашние оценки наших исканий и потуг были невероятно точными, нередко провидческими.

Прочитав мои фантасмагорические писания, Василий Петрович наградил меня титулом кафкианца (с чем, честно говоря, я, жизнерадостный абсурдист, не был согласен, но всё же тогда это было почётное именование), однако, в отличие от Василия Ефимовича, с моими вывертами Василий Петрович никак не боролся, а напротив, как чувствовалось, благодушно наблюдал, куда ещё меня занесёт.

А меня вдруг занесло в попытку просто разобраться, что же это за мир фронтовиков, который нас породил и в котором мы выросли. Так у меня сочинился довольно объёмный роман, который я поначалу назвал замысловато «Воздаяние (во имя и во благо)», но потом переименовал в «Игры после работы».

К диплому он разросся до объёма в триста страниц машинописи, то есть пятнадцати авторских листов, при том, что объём тогдашних дипломных работ по прозе не должен был превышать четырёх.

Василий Петрович всю эту мою графоманию внимательно прочитал и пригласил меня к себе в гости в тогдашний Безбожный переулок (ныне, слава Богу, вновь Протопоповский, хотя со священнослужением историческое название соотносится лишь опосредованно). Тогда я не знал, что он написал роман «Витенька» (вышел в 1981 году, в год, когда я окончил Литинститут). Его главный персонаж был ровесником одного из моих главных персонажей, Севы Нечаева, 1953-го знаменательного года рождения, и Василий Петрович, как видно, сопоставлял их волей-неволей. Как, пожалуй, и ещё что-то. Я мог бы высказать об этом кое-какие соображения, пожалуй, и выскажу, но не здесь, а здесь, в соответствии с избранной тематикой, лишь скажу, что, отнесясь к моему творению в целом благосклонно, Василий Петрович справедливо заметил, что для дипломной работы триста страниц это чересчур, и предложил вытянуть из текста *одну жилу* — одну сюжетную линию. Там их было вообще-то переплетающихся три, и он, неожиданно для меня, вдруг выбрал линию отца Севы, фронтовика, ставшего в мирной жизни химиком-пищевиком, экспериментировавшим с искусственным питанием (имитация икры, рыбы, мяса и т. д.). Я с радостью согласился, ибо к тому времени уже хорошо знал, как ревниво относятся фронтовики к любым литературным описаниям, связанным с их жизнью, которые предпринимаем мы, их дети, невоевавшее и вообще не видевшее войны поколение.

Тогда-то я вновь вспомнил росляковский рассказ «Двое в августе» из «бочкотарного» номера «Юности». Ему было уже под шестьдесят, но и как почти пятнадцать лет назад, он, фронтовик, отец двух сыновей, близких со мной по возрасту, хотел быть молодым, понимать молодое поколение, его страсти, его ценности, убедиться, что непреодолимой пропасти между поколениями нет. Об этом он хотел сказать в своём странном рассказе[1]; может быть, поэтому привлёк его и влюбившийся фронтовик-профессор Нечаев-старший, что мне удалось передать не только своё авторское понимание его, но ещё нечто живое, что пересказать словами трудно, но написать иногда получается.

---

[1] Как видно, «Двое в августе» были дороги Василию Петровичу: он включил рассказ в двухтомник своих избранных произведений (М.: Современник, 1983), причём проведя небольшую, но очень важную правку относительно журнального варианта. И сдаётся мне, что возвращал он первоначальный вариант рассказа, а не модернизировал напечатанный.

В итоге я защитил диплом (сведённый без малого к шести листам) с отличной оценкой (рецензентами на защите были Владимир Ильич Амлинский и Виктор Антонович Богданов, напоминаю: боевой фронтовик, что для меня было особенно важно, я сам просил его о прочтении моего опуса). Признаюсь, что и сегодня мне мой первый роман (даже не в дипломном варианте) кажется не пустословным, но чего нет, того нет: он до сих пор не напечатан. А о моей защите должен сказать ещё несколько слов. Случилось, что все пять лет в Литинституте я проучился с отличными оценками и, следственно, мог претендовать на т.с. *красный диплом*. Всё решала дипломная работа, а здесь можно было и пролететь, прецеденты случались. Как понял, в моём случае последнее слово осталось за ректором, Владимиром Фёдоровичем Пименовым[1]. Всё-таки сочинение моё было далеко от идейных доминант советской литературы. Один персонаж, фронтовик, в зрелые годы завёл роман с отнюдь не праведной молодухой, его сын, отличник по жизни и статям, впал в общественный эскапизм, вместо коммунизма в 1980 году мы ввергнулись в Афганистан (на это у меня тоже были намёки), и он довёл до полного морального истощения ещё одного моего персонажа... Но спасибо мастерам во главе с ректором. Сразу после защиты Владимир Фёдорович вызвал меня к себе в кабинет. Разговор был коротким: «Читал я твой роман. Может, напечатают... Лет через двести». Я пожал плечами. Что отвечать?! Отмеренный срок впечатлял, хотелось даже спросить: «А почему всё-таки двести, а не сто или сто пятьдесят хотя бы?» Но ректор не ждал от меня какой-то реакции. «Через двести лет», — со значением повторил он и продолжил: «Но в аспирантуру я тебя могу взять...»

Далее идёт собственно моя история, мой роман с Литературным институтом без романа с литературой.

А Василий Петрович, выпустив наш семинар, из Литературного института ушёл, как он объяснил в прощальном заявлении, по состоянию здоровья. Не знаю, как для него самого, а для института, думаю, это была серьёзная потеря. Между прочим, в те три года, что он провёл с нами, как помню, ни одно занятие из-за болезней не перенёс.

Я был в гостях у Василия Петровича ещё несколько раз. В его кабинете на стене висели два портрета: цветной — Гёте (на которого, напомню, он был очень похож) и чёрно-белое фото, причём с подписью заглавными буквами: ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ СТАЛИН. Поскольку наши отношения с Василием Петровичем были почти на отцовской степени доверительности, я, к тому времени окончательно перешедший в сферу то ли пещерного, то ли зоологического антикоммунизма, не без жёлчи сказал ему, что знаю, откуда эта фотография. Она, де, выдрана из трёхтомного «Энциклопедического словаря», изданного сразу после смерти Сталина. Разумеется, Василий Петрович незамедлительно это подтвердил и тут же рассказал мне историю. Однажды писательские путешествия завели его куда-то на Рязанщину. И там, остановившись на постой у какой-то солдатской вдовы, теперь старухи, он увидел на стене цветной портрет Сталина, хорошую копию какой-то карти-

[1] Об этом незаурядном человеке и невероятном администраторе мне уже довелось писать ранее: *Дмитренко Сергей*. Дом Сердца // Воспоминания о Литературном институте: Книга вторая. М.: Изд-во Литературного института им. А. М. Горького, 2008. С. 682–689.

ны из сталинианы, то ли Александра Герасимова, то ли Бродского, сейчас не вспомню. Василий Петрович, в годы оттепельного сталиноборчества уничтоживший все имевшиеся под рукой изображения Сталина, но затем несколько откорректировавший свои воззрения на вождя народов, стал просить старуху продать ему портрет. Однако пребывавшая в сельской нищете вдова была непреклонна и просителю решительно отказала, прервав попытку торга вопросом: «А куда же ты свой портрет задевал?!»

Вот и пришлось Василию Петровичу уподобиться известному персонажу из «Острова сокровищ», который испортил Евангелие (на эту ассоциацию я ему, между прочим, тогда же не без хамства указал). Он вырезал вклейку со Сталиным из своего экземпляра «Энциклопедического словаря» и повесил её на стенку рядом с Гёте.

Нет, рассказанная Росляковым быль-притча и его заявление, что не надо преуменьшать значение Сталина в истории нашей страны, не изменили мои взгляды. Сталин, как и Ленин, и Троцкий, и все другие деятели большевизма были и остаются для меня монстрами, безо всяких исключений. Деяния их и созданной ими партии ввергли нашу страну в тектоническую катастрофу, и сегодня, в эпоху посткоммунизма-постбольшевизма, это вновь подтверждается с непреложной очевидностью. Но всё же, чтобы и мне самому не оказаться на одной экстремистской половице с красными террористами, должен признать: борьба со Сталиным, Лениным, etc. посредством уничтожения их портретов и тому подобными деяниями к успеху не приведёт. И здесь я получил ещё один, парадоксальный урок от Василия Петровича Рослякова.

После института я виделся с ним редко. Но однажды, когда пересеклись на каком-то литературно-молодёжном совещании (тогда любили такие), Василий Петрович, зная, что я в аспирантуре (он ведь был не только прозаиком, но и кандидатом филологических наук), подарил мне свою книгу, где были переиздания, вероятно, самых дорогих для него произведений — повести «Один из нас» и романа «Последняя война».

Подпись замечательная и совсем не простая, я думаю над её смыслом до сих пор:

«Учёному художнику Серёже Дмитренко в ожидании первых его подвигов на литниве. В. П.».

Во второй книге четырёхтомника «Воспоминания о Литературном институте» (М., 2008) во вклейке перед страницей 641 есть фотография с несколько странной подписью: «Фронтовики, наденьте ордена», датированная 7 мая 1980 года.

Кто-то, скорей всего, неутомимый Иван Кириллович Чирков собрал перед входом в главное здание института наших преподавателей. Не все из них фронтовики (но обозначены поимённо, отчего и странность подписи) и только один — безымянен.

«Неизвестный в плаще» — сказано о нём. Ни в коем случае не упрекая составителей, всех, кто трудился над этим замечательным изданием и подписывал разнообразные фотографии, всё же должен высказать слова сожаления.

«Фронтовики, наденьте ордена». 7 мая 1980 г.
Слева направо: М. И. Ишутин, Ю. С. Пухов, А. Н. Власенко, Л. Н. Морозова, В. П. Тельпугов, Г. З. Хантемирова, Ал. А. Михайлов, Л. А. Качаева, П. Е. Брайко, Н. А. Иванова, неизвестный в плаще, за ним Е. А. Павлихин, Н. С. Буханцов, М. П. Лобанов

Узнать «неизвестного» и ныне действующим старожилам Литинститута довольно просто.

Это — Василий Петрович Росляков.

Настоящий фронтовик[1], настоящий писатель, настоящий литературный педагог.

Настоящий человек, если воспользоваться знаменитым определением, порождённым советской, большевистской эпохой, в которую *от и до* уложилась его сложноустроенная и при том достойная, всё же по-гётеански гармоническая жизнь.

[1] В годы войны Василий Петрович был награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени, а также медалями, среди которых «Партизану Отечественной войны» I степени.